

Вечное и суетное

— Раз уж начали перечислять, то следует добавить и уже упомянутый «Трибунал» в Театре сатиры, и бесчисленные постановки по «Чонкину», по «Путем взаимной перепишки» и даже по самому «краснольному» (кажется, пришла пора заключить это слово в кавычки) моему роману «Москва 2042».

— И это все за какие-то год-полтора. Согласитесь, что сейчас к нам пришел другой Войнович — сатирик прежде всего.

Раньше знали вашу песню «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы» и несколько иную прозу, если вообще знали.

— Ну что-то все-таки знали. И не только в стране. В восьмидесятом году, когда я покидал Советский Союз, «Чонкин» в том виде, в котором он существует сейчас, был уже написан, переведен на многие языки и издан приблизительно в тридцати странах, причем в некоторых из них большими тиражами. Только на английском общий тираж перевалил за полмиллиона. Западные радиостанции передавали то, что я писал в отрывках и целиком, для тех, кто слушал эти радиостанции, я неизвестным солдатом не был. В шестидесятых годах я числился в постоянных авторах «Нового мира», а этот журнал был все-таки на виду.

Книги же мои выходили с большим скрипом, маленькими тиражами и сильно пощипанными. Потом их изымали из библиотек и уничтожали. Или замыкали в спецхране.

Конечно, нынешний писатель Войнович отличается от того, который закончил свое официальное существование в начале семидесятых, но это естественно. И все-таки те, кто читал мои ранние вещи и читает нынешние, могут видеть, что в главном я остался тем же.

— Когда меня приняли в Союз писателей, мне было тридцать лет, мне и моих сверстников в литературе (Андреева, Владимирова, Максимов, Гладиллина) называли молодыми писателями. А потом мы исцезли и вдруг опять появились. Как будто нырнули в воду молодыми, а вынырнули — что седой, что лысый. А между этими двумя существованиями — период, который называют застоем, а можно назвать провалом: появлялись не поколения, а так — отдельные имена.

Иногда эти имена искусственно связывают казими-нибудь объективными эпитетами, называя, например, соросалетскими тех, кому за пятьдесят, однако они все же не поколение. Но сегодняшние события непременно отразятся на литературе самым положительным образом в любом случае. К чему бы страна ни пришла — к большому успеху или к катастрофе, нынешний исторический сдвиг непременно родит очень значительную, может быть, даже великую литературу. Я имею в виду не те имена, которые сейчас на слуху, а наоборот, совсем никому неизвестные таланты, которым сейчас лет, может быть, двадцать.

— Ваша нынешняя известность связана прежде всего с «Чонкиным». Успех, как говорится, налицо, хотя нашлись читатели, и не принимающие вещи. Вы, видимо, это ощутили по письмам генералов в газете «Ветеран», по почте («Юности» — что касается упомянутых генералов, то критикой в духе чеховского «Письма к ученому соседу» можно вполне пренебречь. Воинствующим неведомо объяснять нечего, а тем, кто не понимает, но честно хотел бы понять, скажу, что Чонкин — это не весь народ, как некоторые утверждают, а один характер, одновременно и универсальный, и национальный. Один из бесчисленного количества типажей. В русском народе есть разные люди: есть Платоны Каратаевы, Ростовы, Болконские, если хотите, и Павки Корчагины. А есть Простаковы, Обломовы, Ноздревы, Кабанихи, Смердяковы и Пришибеи. Если бы дать волю генералам, они бы все эти герои вычеркнули, а то бы и расстреляли. Им не понять, что литература, не отражая типа характеров, была бы просто жалкой, ничтожной литературой. Это ни для кого не оскорбительно. Но наоборот. У каждого народа есть свой Собакавич, но не у каждого нашлось свой Гоголь, чтобы его описать.

Я, между прочим, отношусь плохо не ко всем генералам, а только к тем, которые, потирая своими регалиями, берутся давать указания в деле, которого не понимают. Да еще к своим истинным заслугам присовокупляют предпологаемые. Эти сердитые генералы говорят, что выступают от имени погибших. А я не уверен, что у них есть на это моральное право. Потому, если и дать такое право кому-нибудь из живых, то я бы дал его прежде всего вдовам. Или другим жертвам войны — инвалидам, военнопленным, людям с пожелтевшими телами, душами и судьбами. Которые потом получали мизерные пенсии и вальчики жалкого существования. Вроде моего отца, который, будучи инвалидом войны, получал пятнадцать рублей прибавки к своей трудовой пенсии. А упомянутые генералы за свое, может быть, героическое участие в войне получили сполна и наград, и чинов, и привилегий. Вот пусть от своего имени и выступают.

— Между прочим, в «Юности» подавляющее большинство отзывов положительные. Может быть, эти восторженные письма семидесятилетнего человека, который написал, что он смеялся и плакал и узнавал в Чонкине себя. Значит, ему Чонкин не кажется отравительным, если он себя самого с ним сравнивает. А уж мне-то что говорить! Никого не сравнивали с Чонкиным больше, чем меня.

А вообще, что такое сатира? Вот сатирик «королевского» уровня говорит: смех — дело серьезное. И сами смеются. А на самом деле смех, правда, дело серьезное, а сатира, может быть, самый серьезный жанр. Самый серьезный, потому что точно указывает границу между смешным и серьезным. Если обстановка, условия, церемонии, которые людям кажутся очень серьезными, они принимают важный вид, они надуют щеки, они представляют неважное дело как важное. А сатирик говорит (и его за это не любят): нет, господа (или товарищи), это не важно, это не серьезно, это смешно. На самом деле в мире есть очень мало вещей, над которыми нельзя смеяться. На войне бывает много смешного. И в тюрьме люди тоже смеются. Но вот когда речь идет об Освенциме или, скажем, о Куропатах, тут для смеха никакого места не остается.

— Мы теперь читаем ваши вещи одновременно с Оруэллом, изверставаем ушушением. Ваше представление о его прозе!

— Мне Оруэлл как читатель нравился. А как писатель не близок. Его проза — это некая очень искусная конструкция, плод изобретательного ума. Такое направление дает порой высокие образцы литературы, иногда даже высочайшие, например Свифт. Но мне ближе литература интуитивная, идущая не от идеи, а от образа, короче, мой идеал Гоголь, но не Шедрин. У Шедрина, впрочем, я очень люблю «Господ Головлевых», потому что там тоже образ. Иу-

душка Головлева вообще образ не шедринский, а гоголевский. «Город Глупов» и сказки Шедрина я люблю не очень, хотя сам недавно написал несколько сказок, почти что «под Шедрина».

А вообще если говорить серьезно, то мир делают смешными люди с полным отсутствием чувства юмора. Они создают сатирическую действительность, которую даже объединенному гению Свифта, Гоголя, Шедрина и Оруэлла и всех остальных сатириков не хватило бы мощи вообразить. Наша реальность есть сплошная сочиненная не на бумаге, а прямо из наших судорожных вздохов. Впрочем, некоторые литераторы ее преиспугали, но они были не сатирики, а мечтатели. Например, Кампанелла. В его «Городе Солнца» все люди работают, кроме тех, у кого абсолютно нет ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей. Тот же, у кого нет рук и ног, но есть хотя бы один глаз и одно ухо, тот ссылается в деревню и служит там солдатыем.

Меня называют сатириком. Я долго отказывался от этого звания, потому что считал: изображаю жизнь такой, какая она есть. И, кстати, первые упреки советской критики были именно по этому поводу. Один критик написал, что Войнович «придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть». Это я буквально цитирую, точно запомнил на всю жизнь.

— Кто автор?

— Не знаю, стоит ли его называть в литературе. Он умер. Зина М. Гус. Но если оставите, то надо сказать и то, что вот он меня ругал всегда — как только что мое появилось, сразу яростно нападал, — перед отъездом мы случайно столкнулись в подъезде, жили в одном доме, и он вдруг: «А вы знаете, мне сегодня исполнилось восемьдесят лет». Я: «Поздравляю». Он: «Да, большую жизнь прожили». Я: «Возражаю». Он: «И много плохого сделал». Потом, после паузы: «Вот и вас ругал, и напрасно...». Махнул рукой и ушел. Это единственный случай, когда я видел, что человек искренне покаялся.

— Значит, вы описываете действительность как она есть, а сама действительность сатирична и «Шапка», разумеется, тоже не вымысел!

— Это же не я придумывал выдавать писателям шапки соответствующего рангу. Я, между прочим, в первом, журнальном издании своей повести написал: «Эта шапка сшита из шинели Гоголя», намекая на свое скромное место последователя и на известное высказывание Достоевского. Но на самом деле моя история стоит после гоголевской, но выше нее. Нет, у меня не манья величия, я не себя сравниваю с Гоголем, а руководителей Союза писателей и Литфонда. Гоголь придумал, что чиновник шьет себе шинель в соответствии со своими возможностями. А эти придумали шить в соответствии с чинами. Чем воображение богаче? Вот то-то и оно! Мне осталось только сочинить некий сюжет и описать его более или менее правдоподобными деталями.

— А ваша «Москва 2042» — она откуда?

— Я покидал Россию в 80-м году. И, конечно, думал, что же будет с этой страной, к чему она может прийти? Хотите верить, хотите нет (у меня есть документальные доказательства), но я тогда говорил и даже заключил несколько пари, что через пять лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены. Писать роман я начал в 82-м году. Сначала хотел заглянуть на пятнадцать лет вперед и назвал роман «Москва 2032». Потом прибавил еще десять летных лет. Но я не собирался писать антиутопию. Я искренне пытался, хотя бы на бумаге, улучшить реально существующую систему, избавить ее, так сказать, от всего, что мешает. Но куда ни тыкался, наткнулся на тулуп. Между прочим, в литературе (если ее законы не нарушают слишком грубо), как и в жизни, нельзя пренебрегать обстоятельствами. Я не пренебрегал, и моя перестройка на бумаге не состоялась. То есть я начал какие-то реформы, а они у меня не стали получаться — приблизительно так, как сейчас не получаются в Советском Союзе. Я увидел, что идеологическая структура не даст ничего сделать, будет бег в мешках. Знаете, есть такие соревнования. Можно мешок затыкнуть, можно его ослабить — все равно он мешает. Чтобы бежать нормально, надо его снять.

Мой роман, конечно, же, не утопия, но и не антиутопия. Недавно умерший Камил Икрамов, прочтя роман, назвал его анти-антиутопией.

«Москва 2042» я никогда не хотел считать пророческим. Я считал и считаю ее романом-предупреждением. Я хотел сказать, что если советское общество не свернет с курса избранного пути, не откажется от когда-то признанных догм, оно придет к той действительности, которая описана в книге.

Я закончил этот роман в 85-м году. В 86-м вышло русское издание. Год спустя — американское. Американская критика приняла роман хорошо. Авторы рецензий отмечали художественные достоинства, но отчасти давали и сарказмы, что писатель мол, и счастлив, и оптимистичен, и небо: гласность и перестройка уведут страну с пути, обрисованного им. Честно говоря, мне показалось, что они правы. Я подумал, ну черт с ними, с моими романами. Как говорится, лишь бы не было войны. Но вот прошло уже три года, и, увы, единственная московская жизнь все больше похожа на ту, которую я описал. Судите сами. В романе Москва — отдельно взятый город, в котором построен коммунизм. Остальные граждане в Москву не допускаются. Коммунистическое государство от каждого по способности, каждому по потребности, но потребности определяются специальными органами — пятиугольными Потребностями. В горячий воде и в мыле их нет. Продукт первичный (то есть пища) мало отличается от продукта вторичного (того, во что она превращается). Москва разделена на три кольца коммунизма. Чем центральнее кольцо, тем лучше условия. Остальной мир разделен на три кольца враждебности. Прошла Буря. Монгольская война. Мавзолев продали американскому мультипликатору. Латвийская и Калининские области находятся за границей. Вот такой роман.

— И такая дистанция от «Плменных революционеров» — в этой полнотеловой серии двадцать лет назад вышла ваша повесть «Степени доверия» о Вере Фигнер — до «перестройки» «Москва 2042». Вы тогда не просто народолюбы Фигнер писали, но и определенный срез революционной России показывали. А сегодня вы бы писали «Плменных революционеров»!

— Я был в то время в опале, взялся за работу нелегально. Но, как человек добросовестный, я вник в это дело, а вникнув, заинтересовался. У меня иногда возникает как раз мысль: не вернуться ли к этой книге и не переписать ли какие-то части? Жизнь, которая отражена в «Степени доверия», я изучал по архивным, документальным материалам, а потом увидел нечто похожее в реальной действительности. Сейчас, конечно, отразился бы мой личный опыт общения с диссидентами. Народовольцы и диссиденты — это очень похоже, но только народовольцы, вообще все революционеры прошлого и диссиденты 70-х годов имеют много общего. Я бы даже сказал, что это люди одного характера.

Однажды в диссидентской компании речь зашла о народовольцах, и одна дама сказала: «Ах, эта сволочь Перовская! Если бы она мне попала, я бы за-

«Я вернусь бы...»

С Владимиром ВОЙНОВИЧЕМ беседует Ирина РИПИНА

— ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА, «ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИШКИ», «ТРИБУНАЛ», «ИВАНЬКИАДА», «ШАПКА», «ОГОНЬКОВСКАЯ», «КНИЖЕЧКА» ПРОЗЫ И ВОТ ТЕПЕРЬ СРАЗУ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ ПО ПОВЕСТИ «ШАПКА» — СПЕКТАКЛЬ «КОТ ДОМАШНИЙ СРЕДНЕЙ ПУШИСТОСТИ» В «СОВРЕМЕННОМ» И ФИЛЬМ...



душила ее своими руками». Я говорю: «Нет, вы на себя наговариваете, вы бы не стали ее душить». — «Я не стала бы душить! Почему вы так думаете? Она была царь-батюшкой». — «Я думаю, если бы вы жили в то время, вы бы вместе с Перовской кидали бомбы в царь-батюшку». — «А вы знаете, что я убежденная монархистка». — «Тогда это теперь для таких людей, как вы, можно быть убежденной монархисткой. Я верю, что вы искренны сейчас, а тогда точно такие люди кидали в царь-батюшку бомбы». Она была на меня очень сердита.

Моя литературная карьера с самого начала шла и так, и сяк. В 62-м году меня приняли в СП, а уже с 68-го началось то, что Людмила Корнеевна Чуковская назвала процессом исключения. Тогда, в 68-м, меня списали наказали за письмо в защиту Гинзбурга, Галаганова, Добровольского и Лашковой (я хочу, чтобы имя Веры Лашковой осталось в интервью, она очень достойная женщина, но ее имя при всех перечислениях обычно выпадает). Подписание упомянутого письма уже тогда закончилось для меня строгим выговором и тотальным запретом всего. Два мои пьеса шли по всему Союзу — были запрещены везде. Было закрыто несколько написанных мною сценариев. Книжки вычеркивались из издательских планов. Некоторые чиновники обещали умирить меня голодом и сделали так, что мне нигде не давали даже внутренних рецензий. Это был первый урок, который продолжался несколько месяцев и закончился в начале 69-го года, когда опала слегка ослабла и опять где-то что-то пошло. Но, как говорится, недолго музыка играла. В марте 69-го года рукописи первой части «Чонкина» попали через самиздат в журнал «Грани» и была опубликована без моего ведома, но при условии некоторых сил, отнюдь, я думаю, не иностранного происхождения. Это была настоящая провокация, которая позволила моим недоброжелателям начать против меня новое дело.

Секретари Московской писательской организации вызвали меня и по одному, и коллективно. Уговаривали, упрощали, лестили, лицемерили, угрожали, запугивали и вымогали у меня признания, что я написал антисоветскую, антипартийную, антинаучную, антигосударственную, антинародную повесть. Причем для установления степени моей вины определялись специальные органы — пятиугольные Потребности. В горячий воде и в мыле их нет. Продукт первичный (то есть пища) мало отличается от продукта вторичного (того, во что она превращается). Москва разделена на три кольца коммунизма. Чем центральнее кольцо, тем лучше условия. Остальной мир разделен на три кольца враждебности. Прошла Буря. Монгольская война. Мавзолев продали американскому мультипликатору. Латвийская и Калининские области находятся за границей. Вот такой роман.

— После статьи А. Рыбакова «Из Парика! Потопляю!» в редакцию обратились В. Максимов. Он сообщает, в частности: «Об участии А. Рыбакова в травле Войновича мне известно от самого В. Войновича. С его же согласия я сделал этот факт достоянием гласности».

— Максимову о Рыбакове я рассказывала. Сам я не собирался об этом писать, но и хранить тайну тоже никому не обещал. Между прочим, в описываемые времена мы с Рыбаковым были вроде как бы приятелями. Иногда он мне даже в чем-то помогал, и я это тоже помню. Он и другим людям помогал, и вообще я вовсе не считала его негодяем. Но что было, то было. Когда заварилась эта каша с журналом «Грани», я вдруг узнаю, что моя рукопись дана на прочтение Рыбакову. Я даже воспрянул духом, ну, думаю, Рыбаков прочтет, позвонит, мы встретимся, обсудим какой-нибудь выход из положения. Но он не позвонил, и встретились мы только на закрытом заседании секретариата. И никто там меня не защищал. Меня не исключили, потому что не было указания. Указание было проработать и дать строгий выговор с последним предупреждением. А что выговор! сопроводился другими репрессивными санкциями, непечатанием и лишением куса хлеба, — об этом стоит ли говорить? Решение на секретариате было принято единогласно. Возражавших и воздержавшихся не было.

было. Все меня обвиняли — кто во что горазд. Речь Рыбакова я помню почти дословно. Он сказал, что у нас (это у нас-то!) критиковать можно что угодно и кого угодно, но есть один герой, которого критиковать нельзя, — это народ. Критиковать народ не позволяли себе (неужто не позволяли!) даже такие гиганты, как Салтыков-Шедрин и Гоголь. Теперь Рыбаков говорит, что ему «Чонкин» искренне не понравился. Охотно верю. Тем, кто выступал против Пастернака, «Доктор Живаго», может быть, тоже не нравился.

Я философия, которую проповедует сейчас Рыбаков, смолodu не принимал. В мой давней повести «Два товарища» бандиты нападают на двух близких друзей и заставляют одного быть другого. Тот сначала сопротивляется, потом подчиняется и даже входит в ряд. А спустя несколько лет говорит: «Он бы тебя бил сильнее».

— Между прочим, некоторые говорят: ах, ах, как нехорошо — «левые» сороятся, «правые» радуются, сейчас это все аспокимать не время. А с этим не согласен. Для правды никогда подходящего времени не бывает, но говорить ее нужно всегда. В свое время, когда некоторые «левые» участвовали в расправе над Пастернаком, Солженицыным, Галичем, Максимовым, Чуковской, Аксеновым и другими, «правые» радовались не хуже, чем сейчас. Впрочем, объективности ради замечу, что я лично «правыми» противниками Рыбакова не много радости доставляю, что ими и отмечаются в их жето-коричневых органах печати. Что же касается всяких призывов к покаянию, то я к ним не присоединяюсь. Искреннего покаяния нельзя достичь внешним давлением, а неискреннему грубо цена. Борис Слуцкий участвовал в травле Пастернака, а потом (хотел ему искренне стихи Пастернака не нравились) его жизнь мучилась и умер (так я считаю) от угрызений совести. Никто его не мог бы приговорить к большому наказанию. А Владимир Солженицын делал то же самое и сам себя же великодушно простил. И не теряет ни бодрости духа, ни аппетита. Если нет раскаяния в душе, тут уж ничего не поделаешь.

— Действительно, Рыбаков в том заседании поучаствовал, но уклонился, что его, разумеется, не украшает, хотя если бы такие, как он, не пришли, а собрались лишь жаждущие расправы — вот тут бы и могло состояться исключение. Сейчас, кстати, когда в «ЛП» печатается статья Рыбакова, он пытается поглотить и стенограмму того заседания, но ее нет.

В редакции злы, пишут и читатели, и писатели — у каждого свои факты, свои выводы. Один требует гласных покаяний, другие считают, что слова ничего не стоят, главное — сегодняшние дела, а их у того же А. Рыбакова немало, испомнуто, ксати, и свидетельство В. Аксенова («ЛП», № 2, 1990 г.) о том, что он категорически отказался участвовать в расгроме «Метрополя».

Если откровенно, надоело прилюдное выяснение отношений и особенно печаль, когда обвинения в прошлых преступлениях исходят от людей, именующих себя христианами, считающих себя интеллигентами. Как и многие, я думаю в этих случаях по одному: для чего сегодня, кому на пользу эти распри! У нас хватает других, серьезнейших политических, национальных проблем.

Давайте, Владимир Николаевич, вернемся к вашему творчеству. Теперь «Юность» начала публиковать вторую книгу «Чонкина».

В конце войны его оля арестовывают, потом он оказывается в числе перемещенных лиц в американской зоне оккупации Германии. Оттуда американский фермер берет его к себе батраком. Потом фермер умирает и завещает Чонкину жениться на его вдове. Потом умирает вдова, и Чонкин остается один, очень богатым фермером с просторными полями, тракторами, комбайнами и даже собственным самолетом. И уже в наши дни с делегацией экспортных зерна он приезжает в Россию и в конце концов встречается с Нурой. Но встреча эта неродственная. Оба уже старики. Правда, он в джинсах, крепкий и с фарфоровыми зубами, зато она без каких бы то было.

Для того чтобы собрать материал, я и приехала в Америку в Институт Кеннана. Часть Института находится в замке, где в одной из башен у меня есть кабинет с видом на Капитолий и Белый дом. Впрочем, пишу я сейчас сравнительно мало, а просто пытаюсь постичь разные стороны американской жизни и принять в ней некоторое участие. Например, пошел я как-то в столовую для бездомных.

— Кормить бездомных!

— В американских больших городах бездомных довольно много. Это бывалые люди нормальные, дивящиеся крова не по своей вине. А есть просто психически больные люди, которых раньше насильно держали в больницах. А потом пошли протесты, что человек должен быть свободен и, если никому не угрожает, пусть живет, где хочет и как хочет. Вот они и живут на улицах, на площадях, на лужайке перед Белым домом, да где угодно. Зимой одеты в какие-то зипуны, накрывшись одеялами, тряпьем. Некоторые чувствуют себя при этом вполне как дома. Дремплет, читают газеты, пьют кофе, который им, оказывается, в течение дня по нескольку раз развозят на специальном автобусе. В автобусе, кстати, есть и врач, который при случае может оказать нужную помощь. Я заинтересовался жизнью бездомных, стал расспрашивать разных людей, и однажды мои друзья Катрин и Джон Байкер (они, кстати, бывшие дипломаты и жили когда-то в Москве) пригласили меня в столовую, которую опекает их церковь. Я пошел туда и выступил в роли официанта. Вот что им дают, например, на завтрак. Яичница, две сосиски, немного